

СМ
ПИСАТЕЛЕЙ




**НАТАЛЬЯ
МЕЛЁХИНА**

*по заявкам
сележан*

Наталья Мелёхина

По заявкам сельчан

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10243475

ISBN 978-5-4474-1034-6

Аннотация

Способность слушать и слышать – не менее чудесный дар, чем умение правильно подбирать слова. Эти редкие качества гармонично сочетаются в Наталье Мелёхиной с желанием делать то, что в российской деревенской прозе в свое время не прижилось. Мелёхина создает свой собственный мир, где человек напрямую, без посредников, умеет говорить с землей и небом, и, самое главное, – способен слышать их.

Книга из серии проекта «Том писателей» (Вологодское отделение Союза российских писателей).

Содержание

Сердце без лапок	5
Паутинка любви	7
По заявкам сельчан	11
Конец ознакомительного фрагмента.	17

По заявкам сельчан

Наталья Мелёхина

© Наталья Мелёхина, 2015

© творческая группа FUNdbÜRO, дизайн обложки, 2015

Редактор Ната Сучкова

Корректор Нина Писарчик

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Сердце без лапок

Когда для перечисления твоих собственных лет хватает пальцев одной руки, события, случившиеся лет за десять до твоего рождения, кажутся столь же древними, как сказочное: «Давным-давно, в некотором царстве...».

Итак, давным-давно, но вовсе не в тридевятиом царстве, а в отдаленной вологодской деревне жили-были мои молодые родители. Оба не царского, а чистокровного крестьянского происхождения. Хотя, глядя на фотографии мамы в юности, в это трудно поверить. Внешне она напоминала принцессу – Одри Хепберн из «Римских каникул», но с местным колоритом – такая же стройная, как былинка, с глазами олененка, только одета не от кутюр, а из арсеналов райпо. Родители только-только поженились и стали жить в деревушке, которая даже сказочному непривередливому лешему показалась бы слишком... деревушечной.

Но поскольку мама, все-таки, была почти что принцесса, у нее при дворе, впрочем, не царском, а скотном, появился собственный безмолвный рыцарь. В маму влюбился местный немой дурачок Ленька – единственный сын бабки Густы. Ленька в те эпические времена тоже был молод и, как ни странно, красив. Легкая умственная отсталость не отразилась на его внешности, разве что глаза оставались не по возрасту наивными, а в остальном – чем тебе не Иванушка из сказки – высокий, ладный, на лицо приятный, и волосы у Леньки вились, пускай и не русые, а каштановые.

Бабка Густя боялась, что после ее смерти Леньку заберут в приют для душевнобольных. «Их там на вулицу не пускают! В еду лекарства ложат! Как в тюрьме держут!» – сокрушалась она. И копила для сына «приданое»: хотела завещать деньги своему племяннику Валере, чтобы тот позаботился о Леньке, когда ее не станет. Некоторые доброты бабку Густю отговаривали: мол, пропадут твои труды прахом! Заберет Валера денежки, а Леньку, все равно, сдаст в дурдом! Бабка Густя при таких разговорах молчала, поджав губы. Она никого не слушала, откладывала каждую копеечку на сберкнижку, даже сахар и чай не покупала, не тратилась на одежду: донашивала обноски, которые ей отдавали соседи. Ленька тоже щеголял, в чем Бог пошлет.

Так вот, папа маму к рыцарю Леньке не ревновал. Во-первых, обижать убогого, безобидного человека – большой грех, а во-вторых, в глубине души, отец считал ущербными всех мужчин, умудрившихся жить рядом с моей мамой и не влюбляться в нее. Так что, согласно этой логике, Ленька был нормальный парень, только немой и плохо одетый.

Безмолвный воин делал маме сердца подарки и совершал во имя нее подвиги. Он то приносил и оставлял на крыльце нашей избы букет ромашек, то помогал в самом тяжелом труде. Например, однажды при том самом дворе, где мама работала бригадиром, сломался водопровод. Устранить поломку у слесарей не получалось целые сутки. Пятьсот рогатых-хвостатых мучились от жажды, а мама – от жалости к ним. Самой неприхотливой корове нужно не менее ведра воды после каждого кормления, и доярки зарабатывали себе надсад, таская воду из пруда. Ради мамы Ленька спас и бабонек, и буренок: пусть парень не мог похвастаться силой ума, у него были крепкие руки. Он носил воду и день, и ночь, пока весь скот не напился досыта. После этого подвига рыцарь рухнул без сил и почти сутки спал прямо в раздевалке для доярок и скотников. За подвиг водоноса мама выхлопотала для него небольшую премию от колхоза. Эти деньги бабка Густя, конечно же, положила на сберкнижку.

А однажды бессловесный рыцарь подарил маме крошечного щенка дворняги. Назвали собачонку Пунька. Шло время, а песик все не рос и не рос, по-прежнему целиком помещаясь на папиной ладони. Размер у малыша оказался декоративный, а характер – боевой. Пунька отважно бросался на любого человека, зверя или птицу, если считал, что хозяевам угрожает

опасность. Малыш виртуозно владел искусством психической атаки: невиданно малый рост песика и его визгливый лай приводили в ужас неприятелей, никогда не выдавших таких воинов-невеличек. Вдобавок Пунька снискал себе славу живого охотничьего амулета. Любой поход за зверем или птицей становился удачным, если папа брал песика с собой в лес. Пунька умел распутывать следы белок и куниц, пыхтел, упирался, но вытаскивал из воды убитых уток.

У Ленкиного подарка был только один недостаток – в высокой траве он совершенно терялся. Однажды на сенокосе малыша не заметили в густой отаве и косой отхватили ему все лапки... Горю моих родителей не было предела. Они выходили Пуньку, но бегать сам крохотулька теперь не мог, только кое-как ползал на лапках-культиках. И тогда мама и папа стали по очереди носить песика в кармане. Отец по-прежнему брал с собой Пуньку на охоту, и малыш, как и раньше, неизменно приносил удачу. Он не утратил способности плавать, и был благодарен, когда его отпускали в пруд за поверженной кряквой или чирком. В воде Пунька не чувствовал своего увечья. Он прожил долгий собачий век в любви и заботе и скончался, овеянный славой, поскольку посмотреть на чудо-охотника без лапок приходили люди со всех окрестных деревень. После смерти, как и положено герою, малыш «переселился» в семейные предания, вместе с немой Ленкой.

Когда бабка Густя ушла в мир иной, ее племянник оформил опеку над безмолвным рыцарем и получил наследство. Наперекор злым языкам Валера, словно в отместку сплетникам, изводившим его долгие годы, сдержал клятву перед теткой: не стал двоюродного брата «сдавать в дурдом», а увез его к себе в Вологду. Говорят, что бессловесного воина даже устроили в спортивную секцию для психически больных людей, и он стал чемпионом – не то по бегу, как киношный Форрест Гамп, не то по прыжкам в длину... Но в разлуке сразу с тремя любимыми – родиной, матерью и дамой сердца – немой рыцарь прожил недолго: он так сильно тосковал в заколдованном замке многоэтажки, что эта тоска, как ржавчина доспехи, сожрала дни его жизни.

Придет время, и я обязательно расскажу эту историю внукам. Пусть они помнят про Ленку, Пуньку и бабку Густю. Пусть, как и я, задаются вопросом: «Пунька, мой Пунька, сердце в кармане, немое, без лапок... Можно ли сделать дар любимым дороже, чем слово, дар прекрасней, чем ты?»

Паутинка любви

Время от времени Паутинка тонула в пучине любовных страстей и раздоров. В деревне из двенадцати изб преобладало женское население пенсионного возраста. На всех пожилых дам приходилось только трое, столь же пожилых, кавалеров, и старушки периодически устраивали передел собственности. Как нас учит история, в таких случаях обычно начинается война. Летопись Паутинки подтверждала эту мировую закономерность.

Самая затяжная боевая кампания продолжалась не один десяток лет между тетей Фаей и тетей Тасей, по прозвищу Лыжница. Они обе любили однорукого глухого деда, который когда-то был мужем Таисии, но затем ушел жить к Фаине. Деда звали по-вологодски – Однорукой, выделяя все три «о», или же Венюха. Руку Венюхе оторвало еще в молодости – однажды он спьяну неудачно завел трактор.

Физические изъяны не мешали дедушке ловко справляться с крестьянской работой. За водой Однорукой, несмотря на недостаток одной конечности, всегда ходил с двумя ведрами. Колодец в деревне был самой обычной северной конструкции – с круглым барабаном, на который наматывалась цепь, а к ней на огромном карабине крепилось общественное, одно на всех, эмалированное ведро. За деревянные ручки паутининцы крутили барабан, цепь с ведром, грохоча и подпрыгивая, летела вниз, в тартарары, ведро захлебывалось в воде, тяжелело, как беременная баба, и, чтобы вновь вытащить его на свет божий, нужно было изо всех сил подналечь на ручки барабана. Венюха упирался в них осиротевшим плечом, перенося на него вес тела, а оставшейся рукой придерживал цепь и, наконец, извлекал из колодезного нутра воду. Наполнив два ведра, он цеплял их на коромысло и важно шагал вдоль улицы к своему дому с осознанием выполненного, несмотря на инвалидность, долга.

Разведка бабулек так и не смогла установить, где, когда и при каких обстоятельствах Венюха закрутил с тетей Фаей, но только однажды, на исходе весны, он сложил в рюкзак выходной костюм и перемену белья, сунул подмышку здоровой руки валенки, повесил на осиротевшее плечо коромысло и покинул избу тети Таси.

Впрочем, прежнюю суженую он так и не забыл – и регулярно, тайком от тети Фаи, навещал бывшую жену, чтобы исполнить мужские обязанности по хозяйству: колол дрова, носил воду для поливки огорода, чинил крышу и забор.

Тетя Тася тоже была инвалидом. Она родилась с больными ногами. Все у нее было кругленькое: и лицо, и щечки, и ямочки на щечках, и голубые глазки, и ушки, и сережки в ушках, и янтарные бусики на шее, и даже носки лаптей. Лапотки она носила вынужденно: ее больные, распухшие ступни не влезали ни в какую другую обувь. Тетя Тася мечтала о тапочках и валенках, как у всех остальных жительниц Паутинки, но, увы, была обречена на пожизненное ношение лаптей. При ходьбе старушка опиралась на две палки – или, на паутинском языке, на два батога. Шла как на лыжах: левый батог переставит, ногу в кругленьком лапотке, не отрывая от земли, передвинет, потом тем же манером – правый батог и следующая нога. Отсюда и ее прозвище – Лыжница, на которое сама старушка никогда не обижалась. Впрочем, Таисию называли так только за глаза. Батоги у старушки тоже были идеально круглыми в диаметре. Они блестели на солнце, отполированные до безупречной гладкости мягкими подушечками ладоней.

От тети Таси даже зимой пахло клубникой. Как и все бабушки, она почти круглый год скучала по детям и внукам. Они редко навещали ее, поскольку жили в Вологде, к тому же, постоянно ссорились между собой: никак не могли поделить ее дом, который должен был достаться им в наследство. В итоге то семья сына, то семья дочери отказывалась навещать родные пенаты – из принципа, демонстрируя конкурентам в борьбе за дом свою гордость.

Тетя Тася, лишившись мира в семье, не знала, куда же теперь деть всю нерастрченную любовь и тоску по близким. Не имея иных способов выразить эти чувства, она варила варенье в промышленных масштабах. К ягодам и сахару тетя Тася алхимическим образом примешивала некий пятый элемент, который превращал обычное лакомство в произведение искусства, и зимой щедро раздавала соседям-паутиنيين свою любовь, сваренную заживо и запертую под капроновой крышкой. Тасино варенье славилось на всю округу.

В свободное время тетя Тася шила кукол из голубых лоскутов: у нее сохранилось множество остатков от плотной ткани небесного цвета. Голубые куклы получались у нее как на подбор – пухленькие, кругленькие и без лица: ни глаз, ни губ, ни носа – парни в портах и рубашках и девки в сарафанах. В полном одиночестве тетя Тася разыгрывала представления наподобие кукольного театра: она все еще помнила то время, когда Паутинка была большой оживленной деревней, и в ней жили не только одни старики, но и молодые семьи, собиравшись в клубе молодежь, играли на улице ребятишки. Теперь, повинувшись воле тети Таси, куклы имитировали жизнь давно умерших, состарившихся или переехавших в город паутиنيين: матерчатые жители деревни встречались, влюблялись, сеяли хлеб, доили коров, растили детей. Вот пошла кукла Груня к реке, стала тонуть, спас ее Федор, вот они поженились, вот остальные куклы на свадьбу пришли, песни пели, стали молодые жить вместе, да Федор не утерпел соблазну и ушел жить к супостатке Авдотье...

Супостатка тети Таси тетя Фая на куклу совсем не походила. Она была слишком подвижной, даже в свои преклонные годы, слишком кареглазой, слишком худенькой. Она не могла похвастаться женственными формами, да и черты лица не отличались мягкостью – резко очерченные, хотя и очень красивые, однако вовсе не милые. Тетя Фая держала улы, и потому от нее пахло медом. В костюме пасечника она напоминала отважного космонавта. Тетя Фая прекрасно стреляла из ружья-пневматики: так она отгоняла назойливых дроздов с огорода. Эти пернатые хулиганы всего за пять минут могли уничтожить огромные урожаи смородины или малины. Убив пару птичек, тетя Фая вывешивала трупки на огородное пугало для острастки другим крылатым воришкам.

В общем, трудно было представить женщину, более непохожую на тихую, домашнюю тетю Тасю, и брошенная старушка уверяла всех, что Фаина – колдунья, и Венюху ее приворожила. За такие слова саму тетю Тасю начинали ругать, потому как ворожба – смертный грех. «А прелюбодейство – не грех?!» – всякий раз горячилась покинутая жена. «Грех, Тася», – соглашались с ней паутининские бабульки, но тут же вспоминали про преклонный возраст всех участников этого любовного треугольника, советовали остепениться и по памяти цитировали ей слова Спасителя: «Ибо, когда умрут да воскреснут, не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Тут тетя Тася делала одновременно и покорный, и обиженный вид, ее дружно начинали жалеть, а заодно вспоминать любовные истории далекой молодости про измену и коварство мужчин.

В юности у тети Фаи подобных историй не случалось. Она счастливо вышла замуж, но рано овдовела. Ее мужа увела самая непобедимая деревенская разлучница – водка. Зимой, на посиделках, сидя за кружевками, побрякивая коклюшками, тетя Фая делилась с подругами воспоминаниями о муже.

– Работал Валюха тяжело и пил не легче. Мать у меня состарилась и мерзла в избе даже летом, ночью просилась спать на печь, а залезть сама не могла. Возьмет Валюха ее на руки и посадит, а мать там быстро согреется, жарко ей становится – снова просит снять. И всюто ночь так! А мне в три утра на ферму идти, коров доить. Согрешу – выругаюсь! Затихнут. Потом слышу, Валюха маме шепчет: «Мать, ты на ухо-то мне прошепчи, чтоб Фаину не будить, а я уж посажу на печку-то»... Вот счастье-то было! И чего мне не хватало?..

После смерти мужа Фаина долгие годы, пока не перешел в ее избу Однорукой, жила вдвоем с Герой, единственным сыном. Он родился инвалидом, покореженным ДЦП. Гера

хоть и не учился в школе, но отличался завидным умом. Он самоучкой выучился читать и мастерски играл в шахматы.

Летом тетя Фая и тетя Тася устраивали ежедневные перебранки ровно в полдень. У них имелось и постоянное поле битвы. Паутинка – это одна недлинная улица, по обе стороны которой стоят избы. Ровно посередине девичью талию деревни перепоясывал овраг, поделив ее на два конца, как говорили паутининцы. По дну оврага тек ручей, берега соединялись деревянным мостиком. Тетя Тася жила в одном конце, тетя Фая – в другом. Они сходились у оврага и начинали бранить друг друга:

– Разлучница!..

– Супостатка!..

– Змея подколодная!..

– Вражина! – разносились их крики по всей деревне.

Поругавшись минут пять, обе с достоинством удалялись, каждая в свой конец. Зимой эту традицию они не поддерживали, так как кричать на вологодском морозе, пусть даже и на заклятую вражину, нет никакого удовольствия для измученного ревностью сердца.

Лишь один раз словесное побоище завершилось реальным столкновением. В один особенно жаркий день после сенокоса тетя Фая захотела напиться чаю, но воды в доме не оказалось, а Венюха отлучился к соседу-столяру подправить сломавшиеся грабли. Как раз в это время вся Паутинка собралась на посиделки на скамеечках у колодца. Существовало негласное правило: во избежание критических ситуаций Фаина и Таисия ходили в этот деревенский «салон» по очереди. В один вечер являлась тетя Фая, в следующий – тетя Тася.

Фаине пришлось выбирать: сидеть дома без чая и ждать, пока посиделки завершатся, или рискнуть и пойти к колодцу за водой. Природная непоседливость подсказала, что риск – дело благородное, и, вооружившись коромыслом, тетя Фая отправилась добывать водицу. Увидев супостатку, нарушившую закон, тетя Тася решила воззвать к общественному мнению. Зазвучали обычные: «змея подколодная», «разлучница», «бесстыжая». Все остальные дамы и господа, имевшие неосторожность посетить салон в роковой день, хранили потрясенное молчание.

Тетя Фая, как могла, соблюдала нейтралитет. Поджав тонкие губы и безропотно выслушивая брань, она вычерпнула из колодца первое ведро воды... Никогда еще колодезная цепь не разматывалась так медленно и с таким ужасным скрипом, как в этот вечер. Тетя Тася продолжала ругаться, тетя Фая молчала. Кто-то из паутининцев попробовал усмирить Лыжницу:

– Да что ты, Тася, успокойся! Будет тебе! За водой она пришла!

Но Таисию это замечание еще больше взбесило:

– Давайте! Заступайтесь за проститутку!

В это время тетя Фая успела вытащить второе ведро воды. Пока паутининцы пытались образумить Таисию, они как-то отвлеклись от тети Фаи, и лишь тетка Маня заметила, что Фаина вытащила третье ведро.

– Фая, ты ж с двумя пришла, на что тебе третье? – удивленно спросила баба Маня. – А вот на что! – воскликнула тетя Фая, опрокидывая воду на голову раскричавшейся Тасе. – Охолони немножко!

Старики и старушки, стоявшие и сидевшие на скамеечке рядом с тетей Тасей, бойко, как подростки, отскочили в разные стороны, спасаясь от ледяных брызг. Сама Таисия издала слабый звук, нечто среднее между: «ах!» и «ох!». Вода стекала по ее платочку, ручейки чертили округлые русла по кругленькому лицу на круглые груди и кругленький живот.

– Вот стерва! – опомнилась тетя Тася. Бабульки тут же начали выражать Таисии сочувствие и под руки увели ее в избу переодеваться. Посиделки плавно переместились в дом пострадавшей, и тете Фае в этот вечер досталось от соседей по первое число: вода из колодца, конечно же, была ледяной, и тетя Тася запросто могла заработать воспаление

легких, но, к счастью, этого не случилось. Уже на следующий день Лыжница вышла к оврагу на словесную дуэль.

И все-таки однажды летом Тася не явилась на полуденную битву, и тетя Фая, тщетно патрулировавшая поле брани в течение получаса, не по возрасту легко побежала к дому супостатки. Увидев бегунью, остальные паутининцы тоже стали подтягиваться к Тасиной избе. Первой в дверь вошла тетя Фая. Вражину она нашла лежащей у дивана. Ночью с тетей Тасей случился удар.

– Тасенька, милая, Тасенька, потерпи, сейчас скорую вызовем, – уговаривала Фаина.

В это время самый быстрый ходок, Однорукой, уже бежал на животноводческую ферму в соседней деревне: там находился единственный на всю округу телефон. Сотовой связи в Паутинке в те времена еще не было. Она появилось всего через несколько лет, но к тому времени в деревне не осталось никого, кто мог бы звонить...

Тетю Тасю увезли в больницу. Она оправилась, но остаток лета, а также всю осень и зиму провела не в деревне, а в городе у детей, неожиданно помилившихся под угрозой тяжелой утраты. Родные выходили Лыжницу, и под конец следующей весны она вернулась в Паутинку, как ни уговаривал ее сын остаться с ним в городе. Встречали тетю Тасю всей деревней. Она похудела, но осталась кругленькой, все еще с трудом говорила, но глазки уже весело блестели, как глянцевые пуговицы, и по-прежнему, подобно ожерелью из солнышек, сверкали янтаря на шее.

На следующий день после Тасиного приезда, ближе к полудню, все паутининцы толпой вывалили к оврагу. Фаина не заставила себя долго ждать. А вот Тасю ждали – в полной тишине, под марш весенних птиц она величественно, очень медленно выехала из своего заулка на лапотках с батогами. Соперницы, как водится, заняли боевые позиции по краям мостика через ручей.

– Р-ры-аж-жина... Ме-е-я под-ло-дная! – начала Тася заплетающимся после инсульта языком.

– Слава богу! – перекрестилась Фаина. – Быстрее говорить научишься! Супостатка!

Бабушки прижимали кончики платочков к глазам, деды, включая Однорукого, озадаченно отводили глаза, кто-то неуверенно хлопнул в ладоши, и вдруг паутининцы зааплодировали. Громкими хлопками, как поганую муху, прилетевшую с тленной падали, они отгоняли тот неумолимый день, в который ни тетя Фая, ни тетя Тася, ни они сами уже больше не выйдут к оврагу. И в окно Тасиной избы наблюдали за происходящим выставленные для красоты на подоконник матерчатые девушки и парни, все одинаково бесполого небесного цвета.

По заявкам сельчан

Вечером на исходе зимы в Евсеевку вошел незванный гость – невысокий и крепкий дед лет семидесяти. Вадим как раз чистил снег в заулке, когда истошно залаяли лайки Тобол с Ямалом. Чужак без разбору тыкался в каждую избу, будто не замечая, что к ним не ведут натоптанные тропки, а стекла заклеены кружевными салфетками инея. Продравшись через сугробы к крыльцу давно умерших Мыльниковых, незнакомец отчаянно забарабанил в дверь:

– Анна Степановна! Анна Степановна! Не надо ли дров поколоть?!

В пустой промерзшей избе, проданной горожанам и оживавшей только в дачный период, на этот стук отозвалось, заворчало сердитое эхо, недовольное, что его разбудили, не дождавшись лета. Дверь, потревоженная ударами, жалобно задрожала.

– Анны Степановны нет! – крикнул Вадим бодрому старичку. – Пять лет, как умерла!

В абсолютной тишине, в первых голубоватых сумерках его голос подхватило неуместно веселое эхо. В отместку за прерванный сон оно непристойно задрало юбку девственной тишины и крикнуло прямо под подол разнузданное: «Ла! Ла! Ла!». И на этот звук новым приступом лая захлебнулись собаки. Среди белого безмолвия их напугали громкие голоса, запах незнакомца. Обычно псов тревожили лишь зайцы и лоси, да изредка, в погоне за длинноухим, в деревню забегала лиса. В Евсеевку редко заходили люди.

Вадим называл себя в шутку «последним из могикан». Он был совсем еще молод, по деревенским меркам – и сорока не стукнуло, – крепок, высок и статен, но жил бобылем, зимогорил один в малюсенькой деревеньке. На такой подвиг затворничества решались обычно дышащие на ладан старики, которых переезд в город страшил сильнее смерти. И все в округе удивлялись: как только не скучно молодому мужику куковать в Богом забытой Евсеевке? На это у Вадима были свои причины. «В городе я буду кто? Шиш да никто! А здесь я комендант Евсеевки», – улыбался он на вопросы любопытствующих.

Дедок, неловко барахтаясь, выбрался из сугроба, подошел к коменданту.

– Здорово, хозяин! Не нужен ли работник, дрова колоть? А хочешь, снег тебе в раз откидаю?! Я хоть и стар, но работник крепкий. Пусти, Вадимко, переночевать, я тебе песен спою, – улыбаясь беззубым ртом, попросил странник, и тут Вадим узнал его.

Это был Женя Иванов – деревенский дурачок из деревни Васильевское, на месте которой теперь осталось только небольшое поле, в окружении еловых лесов. Когда-то Женя жил вдвоем с матерью, Манефой Николаевной. Летом пас скотину, а зимой подрабатывал тем, что нанимался к соседям колоть дрова.

Был у Жени и еще один вид заработка: на всю округу славился дурачок, как искусный певец. Хочешь – русские народные исполнит, а хочешь – эстраду, да что там эстраду! Даже оперные партии! Один-единственный, из всех местных жителей, Женя радовался, когда по телеку или радио передавали оперы. Он каким-то чудесным образом умел их слушать и понимать: пусть ума и не дал ему Бог, но зато дал чуткий слух и богатый голос.

Дурачка приглашали, как певца, на свадьбы и юбилеи и немного платили за выступления. Женя раскланивался перед народом и важно объявлял: «Начинаем концерт по заявкам сельчан. Первая песня – для молодых!». Затем следовала вторая песня – для родителей жениха, третья – для родителей невесты, четвертая – для свидетелей и так далее, для каждого гостя. Но, теперь – где те молодожены? Где те юбиляры? Лежат под крестами и памятниками. Когда Манефа Николаевна, последняя жительница Васильевского, умерла, Женю увезли в дом инвалидов в райцентре, откуда он примерно раз в год сбегал.

У дурачка никак не укладывалось в голове, что его деревни больше не существует. Он думал, что однажды вернется туда, а все избы стоят целехонькие на месте, и снова можно будет летом пасти коров, зимой колоть дрова и развлекать сельчан своим песнями.

– Жень, твою ж мать! Ты, что, опять из дурдома сбежал? – вместо приветствия нахмурился Вадим, воткнув лопату в снежную кучу у калитки. Он сразу представил, как придется завтра звонить в райцентр, в «дурку», рассказывать, что беглец найден. Приедут Женю забирать, а он же добром никогда не сдастся: санитары руки заламывают, а Жень, в голос, ревмя ревет, как раненая корова, не хочет из родных мест уезжать. Раз на такое полубуешься – долго потом вспоминается.

– В Васильевское-то, вон, дорога есть от Евсеевки, – вместо ответа на вопрос про дурдом Жень показал в поле за околицу. Там, действительно, вилась лентой тракторная дорога по снегу. – Избу свою проведу.

– Дурында! Лес там валят. Гусеничниками таскают. Нет никакого Васильевского – сугробы одни. И нет твоей избы, Жень. Сколько уж раз тебе объясняли! Давно нет, – Вадим достал пачку «Балканки» и закурил.

– Это все Жара, Вадимко, – с уверенностью заявил старичок-дурачок, снял голицу и деловито высморкался.

– Какая еще жара? – рассмеялся Вадим, но в памяти, после Жениных слов, тут же зашевелились любимые когда-то, в детстве, бабкины байки, что жил-де в деревне Бакшейка ведьмак по имени Иван Жара. Мол, мог он так людей заколдовать, что не узнавали они своих деревень и не могли, без чужой помощи, найти родную избу. – Сказки все это, Жень. Легенды. Понимаешь? Неправда это.

– А мать сказывала, что правда. А бабушка, та и видывала его. Заколдовал меня Жара! Вот и не могу избу свою найти. Помоги мне, Вадимко. Пойдем вместе в Васильевское, ты-то не заколдован, в избу меня приведешь.

– Да этот Жара умер, хрен знает, в каком году, за сто лет до твоего рождения! – махнул рукой Вадим, но про сказки уже не заикался.

– А что это, Вадимко, за будка красная? – Жень указал на красную телефонную будку посреди деревни.

Когда-то о телефонной связи сельчане могли только мечтать: заветные аппараты, в лучшем случае, работали в колхозной конторе или на почте. Потом появились сотовые, и все деревенские обзавелись ими. И вот тут оказалось, что, наконец-то, и до медвежьих углов дошла очередь телефонизироваться. Уличные телефонные будки установили в каждой деревне. Правда, чтобы звонить, требовались какие-то особые пластиковые карточки. Что за карточки? Где их покупать? Никто не знал. Все по-прежнему пользовались сотовыми. А будки краснели, как диковинные язвы: летом – среди зелени, зимой – среди снега.

– Это, Жень, власть о нас, крестьянах, вспомнила. Телефоны поставили, – объяснил Вадим.

– Да ну?! – обрадовался Жень. – Как в конторе у председателя! А куда звонить можно?

– Напрямую к Богу, – усмехнулся Вадим, сплюнул под ноги и прижег белесое тело сугроба своим чинариком.

– А номер какой набирать? – ничуть не усомнился в его словах дурачок.

– Да любой жми. Не ошибешься, – рассмеялся Вадим. – А ты чё, цифры знаешь?

– Нет, – честно сознался Жень.

– Тогда тем более. Жми подряд все кнопки! Ну, что с тобой делать? Пойдем в избу, накормлю, да и спать будем, – о том, что завтра придется звонить в «дурку», Вадим благо-разумно не стал сообщать своему гостю, а то Жень из Евсеевки сбежит, еще, не дай Бог, замерзнет где-нибудь в лесах, у бывшего Васильевского.

В избе оказалось, что валенки у Жени обуты на голые ноги, и ступни черные от валяной шерсти, рубашка рваная, а шея коричневая от въевшейся в нее грязи.

– Ёкарный бабай, Женья! Да вас, что, там не моют? А носки-то где? – всплеснул руками Вадим.

– Носков... нет, – выдержав паузу, застенчиво признался дурачок и шмыгнул носом.

– Твое счастье: я вчера баню топил. Воды там осталось. Сейчас полешек в печь кину, подтоплю заново, и помыться сходишь.

Вадим быстро истопил баню, еще не вполне успевшую остыть со вчерашнего дня, и отправил гостя на помывку, выдав ему смену одежды со своего плеча. А потом, глядя, как жадно Женья уписывает за обе щеки рис, сваренный с лосятиной, осторожно поинтересовался:

– Женья, а как вас там кормят? Хорошо, плохо?

– Когда капусту дают – так худо, Вадимко. А когда селедку с перловкой – так хорошо.

– Понятно, – кивнул Вадим, думая, как же надо изголодаться, чтобы перловка с селедкой попадала в категорию «хорошо». – Долго до Евсеевки добирался?

– Утром ушел. На дороге голосовал, доехал до Первача, а оттуда – пешком.

– Санитары-то вас не обижают?

– Нет. Только танцевать водят.

– Как это?

– На женское отделение, с бабами танцевать, ночью. Стыдно, – поежился Женья, и Вадим прекратил расспросы. Вместо этого налил большую кружку черного, как деготь, и сладкого до густоты чая, выдал гостю пряников из райпо. Наевшись, Женья встал из-за стола, чинно перекрестился у иконы в красном углу:

– Слава Богу! Спасибо, хозяин! Чего тебе спеть?

– Спеть?! – расхохотался Вадим. – Да ничего не нужно. Песни эти мне по барабану!

– Так положено: отплатить за ужин, – строго объяснил Женья и уже помягче подсказал, – мужики-то, Вадимко, обычно частушки просят, ну, или про войну.

– Вот только не про войну, – сразу остановил Вадим, – и не частушки. Надоел юмор: по телеку только его и кажут. Давай про охоту, что ли. Про охоту знаешь чё?

– Знаю колыбельную, – строго кивнул Вадим и запел чистым тенором. Голос его неожиданно утратил старческую скрипучесть и стал чистым и нежным, будто у совсем молоденького юноши:

На чистой пушистой постели,
Примятой следами зайчат,
Уснули красавицы-ели,
И сосны могучие спят.
Бай-бай, засыпай!..

Вадим приистрастился к охоте еще в раннем детстве. Он родился в Евсеевке и рос обычным деревенским мальчишкой: как и все, любил с техникой возиться, как и многие, после школы выучился на тракториста в райцентре. До армии, по примеру большинства, успел в колхозе чуть-чуть поработать, а потом призыв, отвальная, военкомат...

Попал Вадим в самое пекло – в первую чеченскую кампанию. А когда после контузии и госпиталя вернулся домой, оказалось, что восемнадцатилетний период до армии сжался и усох до размеров табачной крошки в солдатском кармане, а сама война – всего-то несколько месяцев и успел прослужить до контузии! – наоборот, расплзлась, будто гангрена, и вытеснила все остальные воспоминания. Евсеевка и деревни в округе остались теми же, и люди

не сильно изменились, но вот сам Вадим не принадлежал больше этому миру, словно злой колдун выгрыз у него частичку души и разума.

Хуже всего, что Вадим, как ни силился, не мог облечь в слова произошедшие в нем перемены, да и вообще не мог про Чечню рассказывать, не знал, с чего начинать и чем заканчивать. Жалел, что на расспросы деревенских нельзя ответить, как киношному «брату», мол, «в штабе писарем отсиделся». Спросят мужики – как, Вадимко, там было-то? А он помычит, замямлит что-то непонятное, так и спрашивать перестали, только удивлялись: почему балагур Вадимко вдруг и двух слов связать не может?

И только в одиночестве, в лесу, Вадим не чувствовал груза воспоминаний, на охоте лишь тяжесть ружья и рюкзака за спиной оставалась с ним. Слушая колыбельную, Вадим представил, как сейчас за Евсеевкой дремлет еловый лес, и зайцы с лисами, в их вечной погоне, опять изрешетили следами весь снег под раскидистыми лапами. Мелодия колыбельной показалась ему смутно знакомой. Вадим закурил у шестка русской печки.

И только голодные волки
Добычу выходят искать,
Но спят все ребята в поселке.
Пора и тебе засыпать.
Бай-бай, засыпай!..

Сквозь клубы табачного дыма Вадим увидел прочно утонувший в безднах памяти зимний вечер: бабушка брякает коклюшками, мама и папа еще на ферме, коров доят, а они со старшим братом и младшей сестрой сидят на печке. Греются после долгого катания на санках. Посреди кухни стоит Женя. Он весь день колол дрова: отец его нанял. Теперь дурачок поужинал и забавляет ребятшек. И тут голос Жени из воспоминания слился в унисон с песней Жени из сегодняшнего дня:

А вырастешь сильным и смелым
И тайны лесные поймешь.
Охотником станешь умелым.
За зверем по следу пойдешь.
Бай-бай, засыпай!..

Когда певец закончил, Вадим решительно произнес, не глядя ему в глаза:
– Хорошо, Женя. Потешил – спасибо. Телек давай смотреть. Да и спать будем.

Посмотрели какой-то сериал. Вадим хотел устроить дурачку постель на диване, но Женя попросился спать на русскую печку, заставленную пятаками с растянутыми на них шкурами белок и куниц. Хозяин пятаки отодвинул к стене, бросил на лежанку старое одеяло и подушку, и дурачок блаженно растянулся на горячих кирпичах.

В полудреме Вадиму все чудилась колыбельная, и под ее мелодию, звучащую в голове, вспомнились дочки-пташки. Когда-то Вадим был женат. Поначалу, после армии, он честно пытался стать нормальным парнем, чтоб все, как у людей, чтоб не хуже других. Так и обещал себе, даже проговаривал вслух, твоекратно, нараспев, когда не слышал никто: «Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным!». Но эта мантра не дала результата. Пробовал залить так и неназванное горе водкой, но, напившись, впадал в бешенство.

Тогда еще жили в Евсеевке, вместе с Вадимом, его родители. Раз залег за поленницей, а чудилось, что лежит в укрытии, и метал дровами в родных отца да мать, а казалось, что гранаты кидает... Слава Богу, дело было на выходных, в отчем доме гостил старший брат, приехал на выходные из города. Братан с отцом и скрутили Вадима, связали, отнесли в баню

да окатили ледяной водой, чтоб очухался... Пришел в себя вояка, а что с ним происходило сегодня и вчера, не помнит. Вадим сообразил, что это, должно быть, последствия контузии. К врачам обращался, так те чуть в психушку его не закатали, еле отбрехался потом, что, мол, от пьянки в мозгах случилось короткое замыкание.

Решил женитьбой спастись. Расписались с одноклассницей Светкой Иволгиной, она Вадиму еще в школе нравилась. Худенькая, невысокая, на птичку похожая, Иволгой ее и дразнили. Попробовали жить своей семьей в поселке Первач, за десять километров от Евсеевки. Квартира у Светки двухкомнатная, от бабки в наследство осталась, двойню родили – дочек Таньку и Наташку. Вадим слесарил на ферме, жена продавцом в магазине работала. Что еще надо? Казалось бы, живи – не тужи! Но водка и приступы беспамятного бешенства разбили семью. Улетела Иволга жить в Вологду, квартиру продала и дочек-птенчиков с собой увезла.

Вадим вернулся в Евсеевку, устроился сторожем в тракторные мастерские в соседней большой деревне. Иногда уходил в запой, но выучил свою норму, тот предел, за которым – Вадим знал – его ждет окончательное безумие.

Дочек в городе он навещал редко, но исправно платил крохотные алименты. В трактористы его, из-за контузии, больше не брали, из слесарей за пьянку уволили, а у сторожа велик ли доход? Но Вадим всегда был удачливым охотником. Зимой он добывал пушнину, весной продавал ее скупщикам из Москвы и, накопив энную сумму, каждой дочке вез «денежек с калыма». Так и говорил девчонкам: «Танька, Наташка, денежки с калыма! На куклы и платья!». А Иволге передавал мешок с «лесным» мясом – лосятиной или кабанятиной.

А потом последние соседи по Евсеевке – старики Мыльниковы – умерли, родители состарились, и старший брат на зиму стал забирать их к себе в город. В октябре увозил отца с матерью с внуками водиться, а в апреле привозил обратно: родители тосковали по своей избе и на лето возвращались в деревню. «Перелетные у меня предки, будто гуси», – шутил Вадим. Так и повелось, что полгода он жил в Евсеевке с семьей, а полгода – в полном одиночестве. Компанию ему составляли две лайки – Тобол и Ямал, да еще кот Рыжко. «Скоро весна, пора шкурки продать, съездить и проведать. Кукол купить. Сладостей. „Денежки с калыма“ поделить между Наташкой и Танькой поровну, – размышлял Вадим. – Давно не навещал. Хорошо, что Светка замуж пока не вышла. Когда в доме появится другой мужик, неизвестно, как оно будет».

При одной мысли о чужаке у Вадима вдруг сжались кулаки. Но он оговорил сам себя: «Виноват, виноват! Сам пил и бузил. Вот и упорхнула Иволга! Да и что об этом думать – пока, пока-то она одна! И девки-птахи ждут», – и Вадим провалился в чуткий, некрепкий сон.

Очнулся среди ночи и резко вскочил, будто кто пнул под ребра. В похолодевшей избе сиял неземной свет: в окно заглядывала полная луна с россыпью свечек-звезд. Вадимглянул на печь, где спал гость, и сразу же вскочил на ноги. Жени на месте не было! И гадать нечего – сбежал в Васильевское. Вадим по-солдатски скоро оделся, на всякий случай, взял одностволку с патронташем из сейфа: по ночам в округе, как в той колыбельной – бывает, что и «голодные волки добычу выходят искать». Прихватил фонарик, хотя нужды в нем в такую светлую ночь не было.

Быстро, будто новобранец кросс бежал, Вадим преследовал беглеца по лесной тракторной дороге и, как и предполагал, нашел его на месте нежилого Васильевского. Дурачок свернул с тракторного следа и прямо по сугробам поплелся к тому месту, где когда-то стояли избы, а теперь сохранился лишь остаток чьего-то сада с десятком яблонь, да торчала из снега нелепым мухомором красная телефонная будка. Она появилась здесь из-за бюрократической ошибки: в нежилой деревне все еще числился прописанным давно умерший Женин отец – дядя Матвей. В каждой деревне, где, по бумагам, оставался хоть один житель,

положено было установить такой аппарат – вот и поставили, а что звонить давно некому, кто ж об этом задумался?

Дурачок почти не проваливался в снег. Наст сверкал под луной, как морская гладь, и Женя шел по снежным бликам, будто по воде босиком ступал. Вадим спрятался за придорожным сугробом. Интересно стало, что дурачок дальше делать будет? Да и неловко как-то сразу-то окликнуть. Человек даже из «дурки» сбежал – если не с родными людьми, так хоть с родными местами повидаться.

Женя добрался до телефонной будки, снял трубку и беспорядочно понажимал на кнопки. Затем внятно и громко произнес:

– Алё, Боже? Это я, Господи, Женя из Васильевского. Помогите мне, Отец Небесный, домой вернуться, избу свою отыскать.

Вадим разом покрылся холодным, противным потом, сполз по снежному боку, как подстреленный, и зажал руками рот: то ли, чтоб не заплакать, то ли, чтоб не рассмеяться.

– Господи, я знаю, что ты людям не отвечаешь. Мать рассказывала, что глас Твой не можно нам вынести. Ты ее там береги у себя, Господи, рабу Божию Манефу и всю деревню нашу...

И тут Женя начал перечислять имена умерших односельчан, всех до единого, и никого не забыл. Вадим почувствовал, что по щекам течет что-то липкое, горячее, он схватил зубами кулак, чтоб не завыть, а Женя продолжал:

– Передаю, Господи, им концерт. Прими, Боже, по заявкам сельчан. Первая песня – для мамы моей, Манефы Николаевны.

Вадим ждал, что Женя запоем что-то церковное, но он тихо и торжественно завел песню о первом, что увидел вокруг:

В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь! —
Колокольчик звенит.
Этот звон, этот звон о любви говорит.

Благовестом зазвучало «динь-динь-динь» под куполом небесного свода. У Вадима словно сжалась внутри живота горькая спираль, а потом разом выпрямилась, больно ударив под дых. Скрючившись, он упал на дорогу, захлебываясь в безголосых судорогах, как в спасительной рвоте, и чувствуя, как слезами выходит наружу застарелый яд, не имеющий названия, яд от гадюки-войны. Беззвучно корчась на дорожной ленте, Вадим уже понимал, что не сможет сдать Женю в «дурку» ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц и будет отстаивать и дурачка, и Васильевское, и Евсеевку, и дочек-пташек до последнего дыхания, как и положено всякому воину. «Я-то тоже заколдованный! В родной избе живу, а с войны не вернулся!» – понял Вадим, крепко зажимая себе рот ладонью, чтобы нечаянным всхлипом не помешать певцу.

Над вековыми лесами дерзко полетели к звездам частушки. Это Женя объявил и начал исполнять вторую заявку: для отца своего, контуженного фронтовика дяди Матвея, Женя пел любимые батины частушки:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.